

Дедков, И. [Повесть «Сотников»] [Текст] / И. Дедков // Дедков, И. Василь Быков : очерк творчества / И. Дедков. – М.: Сов. писатель, 1980. - С. 240-262.

...
Можно, конечно, сказать, что «Сотников», к примеру, это притча о подвиге и предательстве, об Авеле и Каине, о новом восхождении на Голгофу. Но не лучше ли задуматься о всей полноте художественного смысла этой повести, в которой сам писатель находит «несколько больше» «жизненного содержания», «чем в других вещах». Находит, несмотря на то что сюжет «Сотникова» «придуман» и разработан не на «своем», фронтовом, а на «партизанском» материале. Вероятно, писатель имеет в виду не только жизненность идей и настроений повести, их связь с непреходящими внутренними проблемами человека, но и более полное, чем обычно, изображение драмы человеческого сознания в условиях смертельной опасности.

Повесть начинается с Рыбака, с его угла зрения, с его мира, и Рыбаком заканчивается. Мир Сотникова и мир Рыбака представлены попеременно; один угол зрения сменяется другим, и повествование движется дальше. Это «равенство» двух главных героев перед автором — необычно для В. Быкова; кажется, это максимум объективности, которой он когда-либо достигал.

Рыбак и Сотников прижаты друг к другу обстоятельствами; у них в повести все время одна общая жизнь, когда один непременно присутствует в мире другого. Уклонения от общей жизни, помимо воспоминаний и снов, случаются лишь тогда, когда Сотников в одиночку отстреливается и когда их порознь допрашивают. То, что происходит в последней главе, касается только Рыбака, потому что Сотникова уже нет в живых.

У этих людей было много общего: сближающее армейское прошлое и тот бой в лесу, где они выручили друг друга. После того боя они «рядом спали, ели из одного котелка». И потому в тот злополучный день они не разделяли своих судеб: каждый из них думал о себе и о другом — вместе. Даже после того, как на чердаке у Дёмчихи Рыбак не выдержал и поднялся, Сотников обдумывает случившееся так: «напрасно *они* (курсив наш.— И. Д.) отзывались, пусть бы полицаи стреляли — погибли бы, но только вдвоем». Уже связанный, на телеге, Рыбак окончательно убеждается: «они пропали». Не я пропал — мы пропали! — вот их настроение. «В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту», и его долго угнетала тяжесть вины, «лежавшей на нем двойным грузом — и за Рыбака, и за Дёмчиху». Он вообще долго считал беду общей и не винил ни в чем Рыбака... Он не подозревал, что у Рыбака рядом с общим счетом уже пошел свой, отдельный, с того самого момента, как их схватили, и этот, второй счет постепенно пересиливал и наконец взял верх — на допросе. Вместе ели, вместе спали, вместе воевали,—

все померкло перед вопросом, заданным в лоб: «Жить хочешь?»

«Единомышленники и попутчики они лишь до тех пор, пока смерть не встала перед каждым живой реальностью, сиюминутной неизбежностью» (И. Козлов). Но это «лишь до тех пор» может быть длиною в жизнь, так как «реальность» и «неизбежность» смерти, вставшей перед Сотниковым и Рыбаком, не может быть отнесена к естественной реальности и нормальной неизбежности. И тогда бы они всю жизнь могли оставаться «единомышленниками», «попутчиками», участниками общего дела. Так что стоит, наверное, присмотреться, что такое «отдельный» счет, с чего он начинается, и вообще — какая жизнь происходит под покровом единомыслия, общей судьбы, общей цели на этой общей, опасной дороге.

О фильме Л. Шепитько «Восхождение» писали, что в центре его «не анатомия подвига, а патологоанатомия предательства», что авторам фильма «прежде всего интересен Рыбак» (В. Туровский). Прозекторская терминология тут неуместна, но одна из особенностей повести и фильма схвачена верно: в Рыбаке больше жизни, то есть инициативы, борьбы, движения, изменений, того, что образует зрительный ряд. Но повесть названа «Сотников», а не «Рыбак», и фильм — «Восхождение», а не «Падение». И дело тут не в заботе о правильности идейных акцентов. Сотников интересен не менее Рыбака, но совсем иначе: как личность, несущая в себе и сохраняющая до конца знание или ощущение предела, за которым она не может больше существовать. Вместе с Сотниковым погибают старый Петр Сыч, Дёмчиха, девочка Бася, но «восхождение» — сказано только о нем, о человеке, чьи действия абсолютно сознательны, искупительны и восходят к высоким образцам человеческой стойкости и самоотверженности.

«Прости, брат!» С пошатнувшегося под ногами чурбана Сотников едва расслышал эти слова Рыбака и увидел, как «с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга».

«Прости, брат!» — какие старые, прекрасные, издалека идущие, глубокие, родство человеческое подтверждающие слова! Какие они сейчас тихие от страха, как жалко пытаются они смягчить это дрожание чурбана — знак скорого конца... И все-таки они означают, что ужас свершающегося сознается... Но сознается как *простительный*, — вот что страшно.

Вина простительна, потому что ничего не попишешь, как говорится; власть, взявшая в оборот, могущественна и безжалостна; деваться некуда, если хочешь жить. «Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? — размышлял Рыбак.— Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем тот честолюбивый Сотников».

Рыбаку давно казалось, что «самолюбия и упрямства у этого

Сотникова хватило бы на троих». Было «не совсем понятно», почему вдруг этот Сотников не отказался пойти за продуктами, когда двое других, покрепче его, отказались. Слова Сотникова: «Потому и не отказался, что другие отказались» — ничего Рыбаку не объяснили. И хотя Рыбаку иногда приходилось подавлять в себе «нетерпение», глядя, как медленно бредет его напарник, он был неизменно к нему внимателен, жалел его, и Сотникову не в чем было упрекнуть своего товарища. Вот чего нельзя сказать о Рыбаке: что у него, например, было «вялое чувство жизни». Во всех его повадках, во всех поступках (до того чердака) — партизанская и житейская опытность, предприимчивость, энергия, сила и надежность. Рыбак отдаст Сотникову свое вафельное полотенце, чтоб замотал горло, отсыплет ему горсть пареной ржи, остаток своей дневной нормы, предложит вернуться в отряд («Если плох, топай назад»), не забудет участливо спрашивать: «Ну, как ты?» Рыбак все время идет впереди, решая за двоих, а Сотников бредет следом, полагаясь на его опыт. Это Рыбак посоветится «обирать» красноармейскую мать, «и без того обобранную немцами», и охотно расколлет ей суковатое полено. Это он сообразит, как держать себя со старостой, и раздобудет у того овцу, выполнив, по сути, то, зачем их послали. Это он на пепелище, огорченный невезением, подумает не о себе, а о товарищах, что «мерзли теперь на болоте», измотанные неделями боев, без хлеба, на одной картошке. И, наконец, Рыбак, уже убежавший от полицаев, вдруг поймет, что «уходить нельзя», потому что Сотников его «прикрывал» своими выстрелами, и бросить его здесь одного — неприглядно. И Рыбак вернется, и сделает все, что в человеческих силах, чтобы спасти своего товарища; это тогда он «так устал, как не уставал никогда в жизни». Да и в трудном разговоре с Дёмчихой, понимая, какую огромную беду могут они с Сотниковым навлечь на ее дом, Рыбак находит, может быть, не лучшие, но ясные и необходимые слова.

Нет никаких оснований сказать, что все это — какое-то показное, неискреннее, натужное, подозрительное, скрывающее какую-то истинную, темную суть. Если б Рыбак был виден только через Сотникова, возможны были бы заблуждение, ошибка, непонимание настоящих мотивов. Но нам-то открыто, что у Рыбака на душе и как движется его мысль. Выволакивая раненого Сотникова и прикидывая, как отбиваться с двадцатью патронами, если их настигнут, Рыбак думал, что «другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же в конце концов в плен — придется драться».

Нет, у него и помыслы пока чисты и лжи в нем не видно.

Но был странный миг, когда они лежали в снегу, переводя дыхание, и «потемневшее на стуже, истерзанное болью» лицо Сотникова «с заиндеветшей от дыхания щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало в нем какие-то

скверные предчувствия».

Словно Рыбак стал иначе видеть, словно сама собой, помимо его воли, произошла в нем какая-то незаметная внутренняя работа и отдалила это прежде хорошо знакомое, а теперь чужое лицо. Или же это сам Сотников вдруг почужел?

В этой повести, кажется впервые у В. Быкова, сфера психологического вместила не только жестко мотивированное и всецело объяснимое, но и то, что поднимается из глубины психической жизни в ответ на вызов и давление чрезвычайных обстоятельств. После «Сотникова» критика тотчас отметила, что «воздействие» Достоевского на В. Быкова «становится определеннее, глубже» (А. Адамович); но до «Сотникова» было ли оно сколько-нибудь заметным?

Теперь в сознании Рыбака все чаще смешивались «невольная жалость» к Сотникову, «неопределенная досада-предчувствие — как бы этот Сотников не навлек беды на обоих», и все чаще напоминала о себе, «временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь».

И все заметнее: в который раз возникает отстраненное: «этот Сотников», и настойчиво однообразны глаголы, которые будто нащупали самое главное: «вывернуться», «выкрутиться», опять «вывернуться» и еще раз «вывернуться», «выкарабкаться». И то, что в начале пути как-то прощалось и вызывало сочувствие (кашель, болезнь Сотникова), теперь все чаще осознается Рыбаком как причина невезения, а позднее — и катастрофы. В доме Дёмчихи, дожидаясь хозяйки, Рыбак уже «почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища». «Рыбак был незлой человек, — объяснит автор,—» но, сам обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться... За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели. Он-то старался уметь и мочь все».

Чувствовать себя здоровым, сильным, умелым, черпать в этом уверенность — совсем невозбранно и даже естественно. Но в «пренебрежении» к «слабым» всегда есть что-то опасное; они как бы уже заранее в чем-то виноваты; в случае чего, на них так уместно переложить ответственность. Да не за то, в чем они действительно виноваты, а уже за свою собственную слабость и слабодушие. Рыбак все больше раздражается против Сотникова, потому что начиная с чердака — так хотелось, чтобы «первым поднялся Сотников»! — в слабости проступает какая-то упорствующая сила, которая Рыбаку неприятна.

Рыбак и Сотников схвачены, но живы; гибель их как будто

отложена; для Рыбака это — «главное, а остальное для него уже не имело значения».

Состояние Рыбака и его мысли передаются теперь словами все более и более просторными по смыслу, словно допускающими, позволяющими всё новые и новые варианты и возможности выйти из положения.

«Остальное» «уже не имело значения», потому что Рыбак надеялся выкрутиться, перехитрить врага. Но «остальное» не имело значения также потому, что жизнь продолжалась, и ничего важнее этого быть не могло. О том, какая жизнь, речи нет. И не будет потом.

Через несколько лет В. Быков скажет о Рыбаке: «Он не враг по убеждениям и не подлец по натуре, но он хочет жить вопреки возможностям, в трудную минуту, игнорируя интересы ближнего, заботясь лишь о себе». Мысль насчет «ближнего» — неинтересна: она «спрямляет» и упрощает сложное; «возлюби ближнего» — хороша заповедь, да тяжелее ее — нету. Это же действительно сложно: оценить, каковы «возможности» жить дальше?

Рыбаку кажется, что, если ты жив, «возможности» есть всегда.

Их взяли с оружием, их должны расстрелять, «но все же...». Мало ли что...

К чести писателя, мир Рыбака сохраняет свою неоднородность, противоречивость до конца повести; в нем не прекращается внутренняя борьба; может быть, она и обманна, эта борьба,— для отвода глаз, то ли совести какой-нибудь мировой, то ли бога, но она есть.

Рыбак жалел, что дал «загнать» себя на чердак, а «в избе куча детишек», и «с винтовкой не шибко развернешься», и «раздраженно» думал о Сотникове, затеявшем перебранку с полицией («задираться» не следовало бы!), и все высматривал, выжидал случая для побега. «Достукался!» — мелькнуло в его голове, когда избитого Сотникова, этого честолобца, этого праведника, поволокли на допрос; он уже «почти зло» думал об этом человеке. И, наконец, уже в кабинете полицейского начальника, как бы прилаживаясь к новым возможностям и почти интуитивно тщась отодвинуть подальше свою гибель, Рыбак сказал — и какое *верное* словцо подхватил! — Портнову: «Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши *ребята...*» (курсив наш.— *И. Д.*). Минутой раньше именно так назвал своих Портнов...

Мир 26-летнего Рыбака — это практический мир; он живуч, в нем талант приспособления, а на этом пути возможности не переводятся. «Жить хочешь?» Разумеется, «он хотел жить!». Но жить хотели и все остальные, и Дёмчиха даже просила прощенья, взывала к жалости... Он же сказал только: «ваши ребята», как бы отдавая должное ловкости и хватке этих «ребят», почти незаметно, может даже не сознавая того, льстя и этим «ребятам» и их начальнику. И что-то сразу

переменилось в этом кабинете, когда прозвучало это словцо, и Рыбак вдруг открыл для себя и для этого начальника, что и он тоже, собственно,— «ребята», и что «ребята» есть всегда и повсюду — расторопные, хваткие, боевые, мастера на все руки, и все они как бы сродни, и Портнов откликнулся тотчас: «а вообще должен признать: парень ты с головой».

Когда Рыбак услышал: «сохраним жизнь», он «ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле». «...Вступишь в полицию, будешь служить великой Германии...» — это было что-то второстепенное, это — потом, а сейчас: простор, ветер, поле, свобода жить. Чуть позже он крикнет, что готов служить в полиции. Этот крик — как заявление о приеме; окончательное оформление: выбить чурбан из-под ног Сотникова. Выбор же был сделан раньше, в кабинете Портнова, он был уже в тех «ребятах» и в том, как, отвечая следователю, он старался говорить допустимую правду, надеясь обхитрить, расположить эту «сволочь» к себе, правдивому. И следователь, видно, почувствовал, что этот человек уже уступает ему и делает шаг за шагом навстречу его желаниям, пусть медленно, явно выгадывая, еще пытаюсь сохранить верность чему-то прежнему, но шаги-то уже сделаны, и нужно только помочь, подтолкнуть, подтянуть к себе.

В. Быков говорил, что в «Сотникове» написано про то, «как опасны сделки с собственной совестью и к чему они могут привести человека...». Участь Рыбака характерна долгой надеждой его через мелкие уступки врагу освободить себя, выжить и продолжать борьбу. Но беда здесь в том,— и В. Быков сказал об этом психологически точнее и достовернее всех, кто писал о подобном,— что стать на путь таких уступок опасно: человек уступает немного и надеется, что сохранил свою честь и принципы, человек поддается еще немного и думает, что возможности его расширятся, потом он делает еще несколько шажков в том же направлении, считая, что теперь-то наверняка провел своего врага и, наконец-то, использует полученные возможности для нового торжества своих принципов, да уж *поздно*: если к этому времени он и не вышиб еще чурбан ни из-под чьих ног, то все равно — он уже обручился со злом, против которого когда-то боролся, и все его ссылки на «обстоятельства», на общую и чужую вину, все муки его совести и далее порыв к смерти оказываются лишь данью какому-то туманному приличию, прикрытием стыда и срама.

«Он хотел жить!» Любой ценой. Это так естественно, но это самое ужасное желание, обуревающее человека: оно требует от человеческой души и духа слишком много терпения и слишком много согласия с горем и злом...

Может быть, Сотников слишком слаб, чтобы хотеть жить? Может быть, у него «вялое чувство жизни» и оттого вся его малая активность, малый практицизм, болезненность, мрачное восприятие ситуации?

На все тот же вопрос: «Жить хочешь?» — Сотников отвечает: «А что? Может, помилуете?»

Еще в «Западне» предтеча Портнова Чернов говорил Климченко: «Учти, выбор у тебя небогатый. Либо ты выступишь (по радио, с обращением к своим солдатам.— *И. Д.*), либо в землю ляжешь». Но тогда выбор, без колебаний сделанный Климченко, был лишь одним из моментов развертывания художественной мысли о доверии к человеку. В «Сотникове» все сосредоточено на самом выборе, в нем все сходитя, им все исчерпывается...

Портновых ирония раздражает, и этот человек с внешностью «скромного, даже затрапезного сельского служащего» отвечает Сотникову обычной, зловеще-подробной («мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы...») угрозой подонков и бандитов. Сотников не может сказать, что ему не хочется жить. Ему хочется жить, но нет к тому никаких возможностей. Он и в поиск с Рыбаком отправился, надеясь обогреться в деревенском тепле и поесть больше обычного. Не помирать же он тогда вызвался, из-за совестливости своей смолчав о болезни. Но есть в этом человеке некая аскетическая прямизна; по мере движения сюжета она становится все заметнее: Сотников — из тех, кто не уклоняется и не сворачивает, и хотя последний выбор ему еще только предстоит, он уже живет с ним в душе, он уже выбрал давно, и эта внутренняя готовность к смерти живет в нем, и он привык к ней, она часть его военного существования, а никакого другого существования пока не предвидится. Ему, как и Рыбаку, только двадцать шесть, но молодости в нем нет, и молодых мыслей — тоже. В отличие от Ивановского, у него позади целая жизнь: учительский институт, работа в школе, служба в армии, командование гаубичной батареей. Правда, обо всем этом только упомянуто; мирной жизни в памяти Сотникова и Рыбака нет, кроме двух эпизодов детства. Живет в памяти Сотникова лишь ближайшее, бередящее, военное: разгром его полка, неравный бой с танками, партизанские происшествия. Ничего, кроме войны, душа Сотникова не вмещает и не принимает: «У тебя еще девки на уме?» — скажет он Рыбаку, когда тот начнет расписывать некую хуторскую Любку. Когда же Сотников увидит заиндевелые крыши местечка, дымы из труб, женщину с коромыслом на плечах, простоволосую девушку в галошах на босу ногу, выплескивающую на снег помои, то с удивлением поймет, что здесь, как ни странно, «шла своя, беспокойная, трудная, но все-таки будничная жизнь», от которой «давно уже отвыкли» и он и Рыбак. Не случайно в доме старосты уже измученный, расхворавшийся Сотников держит себя много суровее и непримиримее Рыбака, и даже искренние слова старости не трогают его. Он тотчас припоминает, как однажды такая же благообразная тетка в платочке кормила его и поила, а сама отправила дочку доносить, и он лишь чудом увидел в

«заслоненное цветами окно» как спешили к дому полицаи, а «рядом, объясняя что-то, бежала маленькая, лет восьми девочка». Это потом, в полицейском дворе и подвале и до последнего мгновения жизни, его будет мучить вина за несчастья и страдания мирных людей, от которых он, выходит, тоже отвык. «Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру (старосте. — *И. Д.*) вдруг навалилось на Сотникова... Опять получалось как с Дёмчихой, которая явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности». А он-то жалел, что Рыбак не пристрелил этого старосту, и, выставив ногу, не выпускал старостиху из избы, когда та порывалась выбежать вслед за мужем и Рыбаком во двор, чтоб спасти, заступаться...

Еще в поле, когда отстреливался, к Сотникову пришло «трезвое и будто не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели». Хотя Сотников думал: «Если убьют, так что ж...», мысли о смерти написаны здесь как центральные. Смерти в бою он уже «перебоялся», и его страшило другое»: «стать для других обузой» или попасть в руки полицаев. И В. Быков тщательно описал, как Сотников стягивал со здоровой ноги «смерзшийся бурок», чтоб, в случае чего, «только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск».

Прежде чем расслышать спасительный зов Рыбака, Сотников успел подумать, что «жизнь все-таки окончится ночью», в «мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей» (вариант лейтенанта Ивановского) и что «братская могила, которая когда-то страшила его», теперь лишь недостижимая мечта, почти роскошь в сравнении с конским могильником, куда его могут свалить. И еще была у него одна мысль: «Уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне... теперь вот, наверно, достанется какому-нибудь полицаю...»

И это всё; ничего другого в этом сознании нет, ничего духовно возвышающего писатель сообщить нам не может, все отодвинулось, или пропало, или вообще прервалось, потому что «начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее — как тогда нажать спуск?».

Это жестокое торжество конкретности, обыденности, материальности над человеческой душой может не нравиться; но от одной повести В. Быкова к другой оно неизменно, только материальность эта еще зримее, осязатее, больнее. Иллюзии, как бы ни были они прекрасны, оставлены другим; писатель убежден, что эта жестокая правда не может уронить человека; она только напоминает, как невероятно могущественна и беспощадна эта последняя конкретность мира, достающаяся человеку и убивающая его.

Случилось то, чего Сотников боялся: он стал обузой. Чувство вины перед Рыбаком сделало его еще отрешеннее и молчаливее. Он

терпел боль и вину и готов был снести это до конца. Весь их путь с Рыбаком словно обозначен писателем мрачными, не сулящими удачи вешками. Одна из них — сельское кладбище, где они «торопливо» пройдут «мимо свежего, еще не присыпанного снегом бугорка детской могилки» и где Сотников тяжело рухнет в снег, привалясь к шершавому комлю сосны: «все в нем исстрадалось, намерзлось, зашлось глубинной неутихающей болью».

Все, кажется, видели эти люди, но ту могилку миновать поспешили, и автор даже не стал объяснять, отчего так. Все соединится в сознании Сотникова одно к одному — мукой, виной, вопросами: и та маленькая девочка, бегавшая за полицаями, и эта могилка, и страдание Дёмчихи, оторванной от детей, от тех самых, что так заботливо хлопотали вокруг них с Рыбаком... В сознании Рыбака мало что соединяется накрепко, все существует в отдельности, и потому сочувствие к Дёмчихе легко сменяется безразличием к ней, а отчаянное желание выручить Сотникова вытесняется мыслью о том, что смерть его была бы кстати — развязала б руки, убрала свидетеля с его дурацкими принципами...

Нравственные принципы — это все-таки соединяющая, скрепляющая, постоянная и обязывающая сила, и они живут в Сотникове, и он чувствует себя частью дорогого ему человеческого мира.

Для практического ума Рыбака все в мире непостоянно и все меняет свое значение, как только затрагивается его, Рыбака, главный интерес: жить во что бы то ни стало.

У Сотникова не было надежды уцелеть, и он не искал ее. Он не заблуждался насчет того, что происходит вокруг и с ним. У него было ясное и твердое понимание событий. Правда, временами оно кажется ясным до категоричности и правильным до обезличенности.

«В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было принимать во внимание никакие, даже самые уважительные причины (речь идет о службе у немцев.— *И. Д.*) — победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он понял это с самого первого боя и всегда придерживался именно этого убеждения, что, в свою очередь, во многом помогло ему сохранить твердость своих позиций во всех сложностях этой войны».

Что это? Мысли Сотникова. Авторский пересказ мыслей Сотникова. В словах и логике — ни живости, ни личностной окраски, ни естественности. Трудно поверить, что в те мгновения, когда все это было в его сознании, Сотников, чуть живой от усталости, сидел в доме старосты возле печки и боролся с дремотой, а кашель то отставал от него на минуту, то «начинал бить так, что кололо в мозгу».

Когда В. Быков таким способом передает размышления своего героя, будь то Сотников или Ивановский, то достигает ясности, общедоступности, но индивидуальный характер мысли теряется. В какой-то мере это объясняет, почему Сотников кажется иногда

чрезвычайно определенным, как бы «сформулированным», некоей «постоянной величиной». Живая сложность умственной работы, мешающей конкретно-чувственное с отвлеченным, естественная ее затрудненность и неправильность более способствовали бы художественному впечатлению. Они сделали бы духовное бытие Сотникова подлинно самостоятельным явлением...

Но даже тот Сотников, что существует в повести, непреклонный, несломленный человек с чистыми и неоспоримыми мыслями, показался искажением псевдогероического стандарта. О Сотникове писали, например, что он «обречен уже в самом начале повествования на страдательность, на подчинение воле обстоятельств», «лишен того главного, что составляет смысл всякой жизни, даже в самых безнадежных обстоятельствах,— понимания своего места в борьбе за общее дело, а значит, и за свою жизнь, которая немыслима, бесцельна вне общей жизни, вне свободной Родины» (Бор. Леонов).

Подчинение обстоятельствам вообще чуждо Сотникову, его душе и уму. Первый его шаг наперекор обстоятельствам в тот день сделан, когда он не сослался на болезнь и пошел с Рыбаком. Второй шаг, когда отказался вернуться в отряд. Третий, когда отстреливался и готовился убить себя. Покорные обстоятельствам так ли действуют? Да и все дальнейшее (заступничество за Дёмчиху, за старосту и Рыбака, поведение на допросе) только опровергает мысль о «подчинении», указывая на ее недобросовестность. Если и есть в Сотникове «подчинение» чему-либо, то своим принципам, логике и целям борьбы с фашизмом. Именно эта «подчиненность» позволяет ему достойно снести все физические и нравственные муки, обрывающие его жизнь и судьбу. Ничего другого он не может себе позволить.

Сотников первых и последних страниц повести — это один и тот же характер, строй мысли и способ жить. Обстоятельства убивают его как раз потому, что он не подчиняется им. Он для них слишком «постоянная величина». Он, больной, слабый, склонный к рефлексии, слишком тверд для них, чтобы они могли растворить его в себе, как Рыбака. Жертвенность Сотникова — неизбежная жертвенность: его возможности катастрофически сужены болезнью и ранением, он словно связан по рукам и ногам. Не будь ранения, не было бы и его вины перед Дёмчихой, старостой и Басей. Чувство этой непоправимой вины, едва осиливаемой сознанием, резко отделяет его ото всех, обрекая на трагическое одиночество. Выход единственный — взять на себя всю вину, освободить от смерти всех остальных, но и это недостижимо. Отсюда — все мученичество Сотникова, драма его совести, снятая, но не разрешенная.

В. Быков наделил Сотникова идеальным пониманием того, как человек должен относиться к другим людям, к своему долгу и своей

стране. Он наделил его прекрасной, органически в нем живущей способностью к максимально нравственному выбору перед лицом любых обстоятельств. Сотников, как и все лучшие герои писателя, хорошо чувствует неустрашимое присутствие в мире нравственного закона и стремится следовать ему. То, как он действует и погибает, само по себе есть опровержение этого временного господства подонков, хаоса аморальности, вседозволенности, всякого «мирного» соглашения со злом. Поведение Сотникова подтверждает, что нравственный порядок в мире неотменим, и Рыбак, кстати, это чувствует и торопит в мыслях смерть Сотникова, как напоминания об этом порядке.

Мысль и воображение читателя, его нравственное чувство вместе с автором и Сотниковым ищут и не находят другого достойного выхода; остается этот естественный и необходимый героизм. Идти Сотникову тяжело, это путь борьбы, терпения и страдания, но свернуть невозможно.

Те нравственные принципы, которых упорно держится Сотников, чрезвычайно требовательны к человеку. Эти принципы неизменно властвуют в художественном мире В. Быкова; на них там держится сам небесный свод, без них все смешается, рухнет, исчезнет мера человека и его дел, воцарится сиюминутность со своей короткой правдой, человека пригнет, придавит к земле, оборвет все связи, разъединит с другими, замкнет на себе, единственном и бесценном, которому все грехи заранее отпущены.

Идеальность всегда требовательна и уже потому может отталкивать. Еще более отталкивает она, предлагая решения, как бы обязательные для всех, не считаясь с великим разнообразием человеческих характеров, судеб и ситуаций, то есть заведомо упрощая и оскучня жизнь и подавляя человека непомерной высотой своих наставлений, заповедей и норм. И все-таки в нравственных идеалах заключен живой, надежный и вечный свет, как бы ни были они труднодостижимы, как бы ни третировались порой мускулистым и алчущим практицизмом. «Увы,— писал Т. Карлейль в своей известной книге о героях и героическом в истории,— мы очень хорошо знаем, что идеалы никогда в полной мере не осуществляются в действительности. Идеалы всегда должны оставаться па некотором довольно значительном расстоянии, и нам приходится довольствоваться известным приближением к ним, и быть признательными за то! Пусть человек, как выражается Шиллер, не измеряет уныло аршином совершенства жалкого мира реальности. Мы не принимаем такого человека за мудрого, мы считаем его за болезненного, вечно брюзжащего, глупого человека. Но, с другой стороны, не следует забывать, что идеалы должны существовать; что если мы вовсе не будем к ним приближаться, то все погибнет! Несомненно так!»

Нравственный максимализм В. Быкова, часто упоминаемый критикой, означает, должно быть, прежде всего, приверженность писателя к прекрасной человеческой несвободе, к этой связанности идеалом справедливости, человечности и добра, благодаря которой реальный мир людей не погибает и продолжает существовать.

Героический выбор Сотникова предрешен всем его духовным существом, и жертвенность его необходима, это так! — но безразличия к своей жизни, «тяги» к смерти, смирения перед ней в нем нет. Сотников понимал, что не смерть, какими бы словами она ни украшалась, какой необходимостью ни вызывалось бы, а жизнь, и только жизнь, является «единственной реальной ценностью для всего сущего и для человека тоже». На кладбище, где Сотникову стало «нестерпимо тоскливо», он подумал о том, что «когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она (жизнь.— Я. Д.) станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего». И только тогда «каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшей ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определяется счастьем всех его членов». Самое важное — «устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не так уж продолжительный свой срок на земле». Сознание недостижимости такого мира и общества — горькое сознание; оно станет еще горше, когда Сотников поймет, что, сам того не желая, обрек на смерть три человеческих жизни. Тогда-то он решится взять все на себя, сказать, что один виноват, в надежде спасти людей и вырвать свою смерть из-под власти случая, чтобы и она, как всякая смерть в борьбе, что-то утверждала, что-то отрицала и по возможности завершала то, что «не успела осуществить жизнь». «Иначе зачем тогда жизнь? — думал Сотников.— Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу».

Но надежда спасти кого-либо — призрачна; он успеет подумать, что «только жизнь может противостоять злу и насилию» и что ему ничего не осталось, «как уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством».

В Сотникове, отказывающемся жить («отказываюсь выть — с волками площадей»), воплощена мысль писателя не о пользе и смысле смерти, но о смысле и достоинстве жизни, о неизбежности будущего торжества осторожного и гуманного обращения с нею, о жизни как мере и цене всего.

В. Быков однажды признал, что «привык затягивать нравственные узлы» «всеми средствами», отчего «порой слишком выпирает жесткость сюжетных конструкций». Эту «жесткость» и «узловатость» можно заметить и в «Сотникове». В том, например, как целенаправленно «работают» на авторскую идею воспоминания героев (исключение: воспоминания и сон Сотникова об отце). В том,

как с чрезмерным нажимом проводится мысль о Рыбаке, который, будучи «неплохим партизаном», «безусловно, недобрал чего-то» «как человек и гражданин». Критика справедливо заметила, что пятью классами школы и малым числом прочитанных хороших книг это «недобрал» объяснять несерьезно. Есть к тому же в сотниковском «недобрал чего-то» (он думает об этом, только что ощутив затылком «шершавое, ледящее душу прикосновение петли»!) психологическая неправда и какая-то неуместная, неприятная умственность, упрощающая и Рыбака, и самого Сотникова.

Одна из не прочитанных Рыбаком книг названа: это библия. В доме старосты Рыбак впервые видит и держит ее в руках. И говорит об этом. «И напрасно. Не мешало бы и почитать»,— отзывается староста.

Библия будет упомянута еще раз. Сотников вспоминает, что эта толстая книга «в черном тисненном переплете» лежала на материнском комод. Мальчишкой он иногда листал ее «желтые, источавшие особенный, обветшало-книжный запах страницы». В «странном» сне Сотников увидит отца, бывшего краскома, героя гражданской войны, закончившего свои дни часовщиком, и услышит его слова: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете...» И подумает Сотников, что эти слова из библии, и удивится, что «библию цитировал отец, который не верил в бога...».

Уже перед самым концом, едва держась на ногах, Сотников бредет к месту казни, и его мучает мысль о том, что много человеческих жизней «со времен Иисуса Христа было принесено на жертвенный алтарь человечества», да «многому ли они научили это человечество?».

Эти соприкосновения с миром религии вряд ли случайны. Они позволяют острее ощутить и полную моральную безопорность Рыбака, и дальнюю даль человеческих страданий, и трагическую, как бы неотменимую, их повторяемость, и горечь исторических, нравственных уроков, не пошедших впрок...

Но во всем этом, как и в художественном строе и духе повести, нет оснований для того, чтобы изображать последний путь Сотникова как восхождение на Голгофу. В фильме Л. Шепитько Сотников — это святой, великомученик войны, страдалец и заступник, и его сейчас распнут. И — распнут, и его, и еще троих: при помощи крупного плана — этого нечеловеческого, машинного взгляда, заставляющего видеть то, чего так близко не видит даже палач и чего не может сыграть ни один актер,— последнюю жизнь человеческого лица за мгновение до удушения!

Сотников нес свой крест до конца. Это правда. Но он нес его как человек и как сын человека.

В «Сотникове» В. Быков ни в чем себе не изменил. Героизм? Высокая трагедия? Подвиг духа? Вознесение на небо? В трагедии

участвуют: местечковый пригорок, местечковая праздничная арка, новенькие, только что выписанные со склада пеньковые веревки, старая колченогая скамья, свежееотпиленные чурбаны, запах немецких сигарет и одеколona, чахлые деревца, пригорюнившиеся фигуры людей, бугор льда, намерзший у железной колонки, облезлые ларьки, церквушка с обшарпанными стенами и окнами, заколоченными суковатым, неокоренным горбылем... Руки в сизых обшлагах поймают над головой Сотникова петлю и, «обдирая его болезненные, намороженные уши», надвинут ее на голову до подбородка. Немецкое и штатское начальство «терпеливо топталось», некоторые «хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим обычным делам». Напоследок Сотников отыщет взглядом «стебелек мальчишки в буденовке» и широко раскрытых на бледном лице мальчишечьих глазах ясно увидит приближение своего конца. И все оборвется.

То была, как всегда у В. Быкова, смерть посреди самой обыденной обыденности, смерть, лишенная героического ореола и внутреннего ощущения своей значительности; смерть — в ее конкретности и прозаизме, вне какого-либо символического или другого скрашивающего или отвлекающего обрамления.

Эта серая местечковая улица, это странное «сборище» и копошение безликих людей (одно лицо: мальчика в буденовке!) — лишь малая часть мира, где много гнета и смерти. Смерти было так много, что профессиональных постановщиков казни, этого устрашающе-воспитывающего зрелища, не хватало; то была «местная полицейская самодеятельность на немецкий лад». Это даже называлось не казнью, а «ликвидацией». Это было нечто суетливое, нерасторопное, унижительное, и глаза Сотникова вбирали всю эту картину: и те облезлые ларьки, и церквушку, и арку с перекинутыми веревками, и прочее, и все это конкретное, вещественное — даже «свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы» торец чурбана,— казалось, вопиет о жизни и хранит ее в себе, и тем страшнее было, что все это живое и живущее теперь будто отделилось и пребывало помимо его, за какой-то чертой... Сотников не замечал вокруг ни особой ненависти, ни злобного торжества, ни любопытства к себе; творилось обычное дело, обычная шла работа, но вот Рыбаку за нее — продлят жизнь... И поверх всего этого буднично-бесчеловечного, словно отрешенная от всей этой отталкивающей и притягивающей последней конкретности жизни, возникала улыбка Сотникова — и та, «одними глазами», предназначенная мальцу в буденовке («ничего, браток»), и другая, обращенная к остающемуся миру, наверное «жалкая», «вымученная», как думает он сам, но улыбка же вместо слез, которые он себе не позволил!

В этом мальчике сходится вся надежда Сотникова и писателя: он все видел, все понял и догадался о Рыбаке, о пятой, свободной петле. Это надежда не на возмездие. Это надежда на свидетеля, который и есть возмездие.

Скользя по безликому местечковому люду в «тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках», глаза Сотникова остановились на этом бледном, болезненном детском личике. Так находят что-то родное.

Писатель дал нам понять, что никакого другого утешения своему герою он не припас. Только это смутное чувство родства, только надежда на будущее.

Может быть, одна из главных заслуг В. Быкова перед обществом и литературой состоит в том, что в созданном им художественном мире драматически страстно и необычайно последовательно воплощена идея нравственного идеализма, нравственной разборчивости и чистоты, противостоящая идеям практической, прагматической морали. В. Быков дает почувствовать и понять, что недостаточно моральные решения и действия, искажение нравственного чувства во имя сегодняшней пользы — будь то на войне или без войны — неизбежно сказываются на любом отдалении, деформируя и размывая нравственные представления и расширяя сферу допустимого, простительного, «разрешенного».

...